МИ ЧА ЭЛЬ ТАГ ЭР

Примо Леви и язык свидетеля

Как и многие пережившие Холокост, пишущие о своем опыте, Примо Леви выражает как желание свидетельствовать, так и сомневается в том, что он может использовать язык, чтобы адекватно передать свой опыт. 1 Чтобы улучшить свою память, он начал делать записи, еще находясь в Освенциме, хотя он не мог их вести, потому что любое письмо заключенного считалось шпионажем. Вспоминая свою жизнь сразу после своего возвращения в Италию, Леви сравнивает себя с древним мореплавателем Кольриджа, который подстерегал гостей по пути на свадебный пир, чтобы рассказать им о своих несчастьях, потому что Леви вел себя так же, рассказывая свою историю всем и каждому, кто хотел бы слушать. Действительно, его последние две книги об Освенциме, опубликованные через тридцать пять и сорок лет после его освобождения, взяты из одного и того же стиха из *Древний мореплаватель* как их эпиграф:

> С тех пор, в час неопределенности, Эта
> агония возвращается,
> И пока моя страшная история не будет
> рассказана, Это сердце во мне горит.

Ближе к концу жизни его воспоминания о годе в Освенциме оставались «гораздо более четкими и подробными, чем что-либо до или после». 2 и он не мог позволить забытым деталям исчезнуть. Частично его принуждение написать об Освенциме отражало попытку психологически справиться с

Из *Критика* 34, нет. 2 (весна 1993 г.). © 1993 Издательство Государственного университета Уэйна.

нанесенный ему вред, чтобы как-то «снова стать человеком ... ни мучеником, ни униженным, ни святым». [3] Но после освобождения в 1945 году он почувствовал, что «ничего хорошего и чистого никогда не может произойти, чтобы стереть наше прошлое, и что шрамы возмущения останутся с нами навсегда», [4] и его неоднократное возвращение к этому предмету подтверждает его более поздний вывод о том, что его травма «не может быть исцелена» [5] по прошествии времени. Самоубийство Леви в 1987 году, более чем через сорок лет после его освобождения, возможно, показывает непрекращающийся характер нанесенной ему психической раны. [6] Просматривая видеозаписи интервью выживших из концлагерей, Лоуренс Лангер утверждает, что использование таких слов, как «освобождение» в связи с Холокостом, может вводить в заблуждение, потому что они «соблазняют нас своего рода словесным очарованием, которое слишком легко рассеивает миазмы испытаний лагеря смерти и его остаточные неприятные запахи ». [7]

Опасения сопровождают постоянное стремление Леви вспомнить и обсудить: сможет ли он убедительно рассказать о том, что произошло? В Освенциме ему снились сны, в которых он рассказывал свою историю, а люди отворачивались, отказываясь слушать или верить ему. Он признает, что такие слова, как «голод», «страх», «боль», «холод», не могут передать интенсивность этих чувств в Освенциме, и что их можно описать только «новым резким языком». [8] Слова, выработанные в обычной жизни, казались неприменимыми к Освенциму; Лангер описывает, как одна выжившая, которая, когда впервые пыталась рассказать другим о том, что случилось с ее семьей в лагере, «вспоминает, что думала, что фраза« Моя семья была убита »была совершенно неадекватной, потому что слово« убит », по ее словам, использовалось для обозначения «обычные» формы умирания ». [9] Слово «отравлен газом» также не показалось удовлетворительным, чтобы передать масштаб события, и она была вынуждена замолчать, несмотря на ее желание говорить. Так многое из того, что произошло, было невероятным и несравнимым с тем, что Леви ранее испытал или вообразил, что он просто заявляет в одном отрывке: «Никто не может похвастаться пониманием немцев» [10] (SA 126). Вход в лагерь смерти начался с многодневного путешествия в запечатанном товарном вагоне, который отправил его в неизвестном месте, оставив его пространственно дезориентированным. Его шок усилился по прибытии, поскольку он был лишен контроля над своей судьбой и даже над своими основными телесными функциями. Интенсивное и непредсказуемое насилие подорвало его чувство связи между настоящим, прошлым и будущим. Проблема внятного описания такого глубоко дезориентирующего опыта и поиска языка, свидетельствующего о событиях, которые он считал невероятными и которые многие люди действительно хотели слушать, составляет большую часть работы Леви. В своем обзоре литературы о Холокосте Элвин Розенфельд находит это распространенной дилеммой. Он отмечает, что обитатели лагеря были свидетелями жестокости, лишений,

самоотчуждение, которое мешает любому размышлять и писать о Холокосте, но которое их книги написаны, чтобы сломать его ». 11

Поскольку подавляющее большинство евреев, отправленных в Освенцим, погибли, Леви также сомневается, что его исключительный статус выжившего позволяет ему обсуждать истинную природу концентрационного лагеря. В своих первых мемуарах он использует метафору «утонувших и спасенных» для описания заключенных, из которых утопленники «составляют основу лагеря ... постоянно обновляющегося и всегда идентичного» (SA, 82), тогда как пути до спасения было очень мало, трудно и невероятно. В собственном случае Леви невероятная комбинация факторов помогла ему выжить: он прибыл относительно поздно в январе 1944 года, его знание химии и немецкого обеспечило ему работу в лаборатории на несколько месяцев и заключенный в другом трудовом лагере для неевреев. Итальянские рабочие подружились с ним и в течение шести месяцев ежедневно привозили ему дополнительную порцию еды. В своих последних мемуарах он вновь обращается к тревожному вопросу о действительности своего свидетельства. Он пишет, что

> Я должен повторить: мы, выжившие, не являемся настоящими свидетелями ... Мы, выжившие, не только незначительное, но и аномальное меньшинство: мы те, кто своими уловками, способностями или удачей не коснулся дна. Те, кто это сделал, те, кто видел Горгону, не вернулись, чтобы рассказать об этом, или вернулись немыми, но они ... полные свидетели, те, чьи показания имели бы общее значение. Они - правило, мы - исключение »(DS, 83-84).

Свидетельства о лагерях смерти исходят от свидетелей, которые по определению «никогда не понимали их до дна» (DS, 17), потому что они выжили. Даже если бы он мог найти слова, чтобы передать ужас своих переживаний, его свидетель все равно мог бы неверно истолковать то, что «на самом деле» произошло.

Борьба Леви за разработку стиля, подходящего для его материала, помогает объяснить его увлечение самим языком как творцом и отражением нашей идентичности и политики. Он исследует этимологию слов, использование метафор и разговорных выражений, построение эвфемизмов и связь между словами и силой. Лингвистические модели раскрывают политические концепции и отношения, которые позволяют ему лучше понимать свой опыт. Чувствительность к таким образцам также помогает ему построить мощный язык для своего свидетеля. Свидетельством он стремится почтить память жертв Холокоста, обрести мир в настоящем и повысить осведомленность о том, что произошло, чтобы предотвратить геноцид в будущем. Прежде всего он хочет, чтобы его показания предстали перед судом бесчисленных людей, которые участвовали или соглашались

на бойню, а затем вернулись к нормальной жизни после войны. Хотя никакое правосудие никогда не может исправить нанесенную несправедливость, его свидетель требует, чтобы его читатели судили преступников и рассмотрели, как манипуляции языком укладываются в систему истребления.

L ЯЗЫК И Я СТОМАТОЛОГИЯ I TY

В первой главе *Периодическая таблица,* Леви описывает историю своих сефардских еврейских предков, начиная с их прибытия в итальянский Пьемонт около 1500 года. Изгнанные из Испании, он предполагает, что они путешествовали через Прованс из-за некоторых типичных фамилий, основанных на таких городах, как Фуа, Кавайон, Мийо и Люнель. Таким образом, имена включают в себя историю изгнания и передвижения по Европе. Он также вспоминает дядю Бонапарта, распространенное имя среди пьемонтских евреев, увековечившее их первое «эфемерное освобождение» (PT 6), данное Наполеоном. Их имена не только отражают их географические путешествия, но и фиксируют знаменательные события в жизни сообщества. Такие имена способствуют их отличительной идентичности. Он признает, что первым важным шагом в нацистских усилиях по его уничтожению было стирание его имени. В лагере для задержанных Фоссоли, 12 (SA 12). В Освенциме он вспоминает, как офицер упрекал новичка Капо в том, что он использовал слово «Mann» (мужчины) вместо предписанного слова «Haftlinge» (заключенные) при сообщении номера своего рабочего отряда, присутствовавшего при перекличке (DS 92). Самая прямая попытка дегуманизировать его путем сокрытия его имени была предпринята путем постоянного использования его лагерного номера, который был навсегда нанесен на него. Он называет получение номера своим «настоящим, истинным посвящением» в Освенцим и описывает его значение в коротком суровом абзаце: «Хафлинг: я узнал, что я хафтлинг. Мой номер 174517; мы крестились, мы будем носить татуировку на левой руке, пока не умрем »(СА 23). Ироничное использование слова «крещеный», подразумевающее присвоение кому-то нового имени и духовной идентичности, показывает, как нацисты перевернули процесс наименования, готовясь к уничтожению. Числа были вытатуированы на руках и нашиты на куртках, брюках и пальто, создавая символическую эквивалентность между людьми и кусками ткани. Подобно тому, как скот клеймили и в конечном итоге забивали, татуировка означала переход от человека к статусу животного (DS 119). Заключенные узнавали национальность друг друга и продолжительность пребывания в лагере по своей численности, что частично определяло их поведение по отношению друг к другу. Замена имен цифрами способствовала ломке индивидуальности заключенных и их волеизъявлению. татуировка означала переход от человека к статусу животного (DS 119). Заключенные узнавали национальность друг друга и продолжительность пребывания в лагере по своей численности, что частично определяло их поведение по отношению друг к другу. Замена имен цифрами способствовала ломке индивидуальности заключенных и их волеизъявлению. татуировка означала переход от человека к статусу животного (DS 119). Заключенные узнавали национальность друг друга и продолжительность пребывания в лагере по своей численности, что частично определяло их поведение по отношению друг к другу. Замена имен цифрами способствовала ломке индивидуальности заключенных и их волеизъявлению.

сопротивляться, а также укреплять нацистский менталитет, согласно которому евреи считаются меньшими, чем люди.

Помимо имен, язык в более общем плане служит для структурирования идентичности. Во время своего путешествия под властью Красной Армии после освобождения Освенцима он встретил двух русских еврейских девушек, которые сказали ему и его товарищам, выжившим в итальянском лагере, что «вы не говорите на идиш; так что вы не можете быть евреями »(R 99). Еврейская идентичность в России и Восточной Европе вращалась вокруг ее отличительного языка, тогда как евреи-сефарды в Италии и Западной Европе не использовали идиш (до прибытия в Освенцим Леви лишь смутно знал о его существовании). Даже после того, как он прочитал за них молитву на иврите, они не могли понять, что отличает его от итальянских заключенных-язычников, которые говорили на том же языке, носили ту же одежду и имели те же лица, что и Леви. Он уже испытал эту изоляцию в Освенциме, где идиш был де-факто вторым языком заключенных, и многие из них не любили и не доверяли итальянским евреям, которые не могли на нем говорить. И действительно, без особого языка, сильных религиозных убеждений или традиций яростного антисемитизма в Италии, сравнимых с таковой в Восточной Европе, семья Леви далеко зашла на пути к интеграции в итальянскую жизнь. До принятия фашистских расовых законов в 1938 году он вспоминает, что считал свое происхождение «маленькой аномалией, например, кривым носом или веснушками; Еврей - это тот, у кого на Рождество нет елки, кто не должен есть салями, но все равно ест, который немного выучил иврит в тринадцать лет, а затем забыл его »(РТ 35–36). 13 Его мемуары *Выживание в Освенциме* содержит несколько ссылок на религию или иудаизм.

И все же предки Леви действительно разработали особый словарь, состоящий из еврейских корней с пьемонтскими окончаниями и инфляциями, которые в течение нескольких сотен лет отражали и укрепляли их отдельную идентичность. К двадцатому веку этот жаргон нескольких сотен слов и выражений, на котором никогда не говорили более нескольких тысяч человек, начал исчезать. Из-за его небольшого объема он признает, что его исторический интерес невелик, но он утверждает, что «его человеческий интерес велик, как и все языки на границе и в переходный период» (РТ 8–9). «На границе и в переходный период» описывает не только язык, но и неоднозначный статус евреев в истории Италии. 14

Он считает, что этот жаргон способствовал традиционной тенденции его семьи к отстранению от других, и поэтому называет эскиз своих предков «аргоном», инертным газом, который не вмешивается в какие-либо химические реакции и не соединяется с другими элементами. На протяжении всего эссе он легко переходит от

обсуждение слов на этом языке к рассказам его тетушек, дядей и двоюродных братьев, которые на нем говорили. Хотя это добродушный, скептический язык с комическим аспектом из-за маловероятного сочетания пьемонтского диалекта и иврита, он утверждает, что его «униженные корни» проявляются в словах, которых ему не хватает, таких как «солнце», «человек, человек». »Или« город »по сравнению с содержащимися в нем словами, такими как« ночь »,« спрятаться »,« деньги »,« тюрьма »,« украсть »,« повесить »и« мечтать », последнее из которое использовалось во фразе «во сне» и всегда понималось как противоположное (PT 9). Он объясняет, что «даже поспешное рассмотрение указывает на его скрытую и подпольную функцию, хитрый язык, предназначенный для использования при разговоре о гоях в присутствии гоев. », Который представлял собой защитную реакцию против« режима ограничений и угнетения », наложенного на евреев (PT 8). По мере того как антисемитские ограничения постепенно снимались, первоначальная цель языка также исчезла. Он олицетворял иерархические статусные отношения между евреями и язычниками в определенный исторический момент. Некоторые фразы, особенно из торговли тканями, в которой специализировались евреи Пьемонта, в конечном итоге перешли в обиход, поскольку люди потеряли свои еврейские корни. Такие слова сигнализировали о присутствии евреев даже после того, как они перешли к другим профессиям. Все языки содержат метафоры и образы, «происхождение которых теряется вместе с искусством, из которого они взяты» (PT, 150), так что язык сохраняет прежние отношения и действия. Он рассказывает, как в отрочестве отца другие дети издевались над его отцом («без злого умысла»), собирая углы своей куртки в кулаки, чтобы они напоминали уши осла, и скандировали «ухо свиньи, ухо осла, отдай их еврею, который здесь» (PT 5), не зная, значение их жеста или песнопения, которое возникло из кощунственной пародии на приветствие, которым благочестивые евреи обменивались в храме, показывая друг другу края своих молитвенных шалей. Язык песнопения сохранил остаточный антисемитизм после того, как люди отказались от его истинного содержания. Его книга который возник в кощунственной пародии на приветствие, которым благочестивые евреи обменивались в храме, показывая друг другу края своих молитвенных шалей. Язык песнопения сохранил остаточный антисемитизм после того, как люди отказались от его истинного содержания. Его книга который возник в кощунственной пародии на приветствие, которым благочестивые евреи обменивались в храме, показывая друг другу края своих молитвенных шалей. Язык песнопения сохранил остаточный антисемитизм после того, как люди отказались от его истинного содержания. Его книга *Периодическая таблица* таким образом, рассматривается ряд антисемитизмов, от относительно мягких и полусознательных до самых кровавых и систематических. Анализ языка Леви помогает ему понять формирование еврейской общины в Пьемонте, как антисемитизм сформировал идентичность его предков и как снижение его значения в Италии сформировало его собственную идентичность.

Внутри Освенцима также развился специальный жаргон. Слово «фрессен», обычно используемое только для обозначения способа питания животных, использовалось вместо «эссен», человеческого способа питания (SA 68–69). Выражение «уйти» произошло от «abhauen», что в собственном немецком языке означает «отрезать» или «отрубать» (DS 99). Фраза «никогда» на лагерном сленге была «Morgen früh» или «завтра утром» (SA 121). Слово «мусульманин», или мусульманин,

ссылались на измученного заключенного, готового умереть от истощения и голода и, вероятно, «отобранного» для перехода из трудовых лагерей в газовые камеры и печи в Биркенау (DS 98). Вместо свободно избранного, а иногда и смешного жаргона его предков, лагерный сленг в значительной степени был навязан немецкими надзирателями и отражал их презрение к еврейской идентичности своих заключенных. Эти слова олицетворяют жестокие и деградировавшие условия лагеря и даже отражают искаженное ощущение времени, вызванное вездесущностью и неизбежностью смерти. 15 Леви пишет о послевоенной деловой встрече с некоторыми представителями Bayer (одной из компаний, которые входили в химический конгломерат IG Farben; Леви работал на заводе рабского труда Buna в Освенциме), где он использовал некоторые из суровых, деградированных немецких лагерей. жаргон, который он изучил в Освенциме, и наблюдал, как они с удивлением отреагировали, потому что его слова «принадлежали к лингвистическому регистру, отличному от того, в котором велась наша предыдущая беседа, и, конечно же, не изучаются на курсах« иностранного языка »» (DS 99). Словарь лагеря был тесно связан с его идентичностью как еврея из Освенцима. Используя его вне исходного контекста, он не только раскрыл, кто он такой, но и заставил сотрудников Bayer испытать ужас, который их фирма помогла создать. Он утверждает, что «позже я понял также, что мое произношение грубое, но я сознательно не пытался сделать его более благородным; по той же причине мне никогда не удаляли татуировку с левой руки »(DS 99). Немецкий концлагерь, как и диалект пьемонтско-иврита, содержит много информации о людях, которые на нем говорили, поэтому он не хочет, чтобы он был полностью забыт.

L ЯЗЫК И П OL IT ICS

Примо Леви было три года, когда фашисты пришли к власти в 1922 году. Он вспоминает, что его юношеское отвращение к фашизму было вызвано не только действиями режима, но и его преувеличенной риторикой, которую он характеризует как собрание догм, недоказанных утверждений и т. Д. императивы (PT 42). В средней школе и колледже он увлекся наукой, особенно химией, потому что она казалась антитезой фашистской риторике. Вместо догм были экспериментально проверены и подтверждены предположения. Вместо грандиозных претензий на превосходство химики использовали ясный и лаконичный язык, основанный на элементах периодической таблицы Менделеева, понятных всем ученым. Казалось, что наука предлагает гораздо более надежный способ понять, как на самом деле устроен мир, чем «истины» фашистской идеологии.

Но научная деятельность, как и все другие, ощутила на себе влияние фашистской идеологии. Хотя после принятия расовых законов 1938 года ни один из его однокурсников-химиков не делал ему враждебных заявлений или жестов, все они принадлежали к фашистской студенческой организации, и Леви вспоминает о невысказанном напряжении в его контактах с большинством из них. Похвала и высокие оценки, которые он получил в колледже, он считает результатом не только его упорного труда, но и желания его профессоров выразить свой расплывчатый антифашизм. Тем не менее, когда пришло время защищать его кандидатскую диссертацию, все профессора, кроме одного, отказались работать с ним, опасаясь нарушения расовых законов и возникновения проблем с правительством. После окончания института в 1941 году он впервые начал работать химиком в лаборатории, примыкающей к шахте, контролируемой военными. работа, которая зависела от готовности пассивно антифашистского лейтенанта игнорировать законы, требующие расового разделения. Леви вспоминает, как наслаждался химическим анализом и проблемой поиска способов получения большего количества никеля из породы, но признает, что «я не думал, что если бы метод добычи, который я заметил, нашел бы промышленное применение, произведенный никель был целиком попали в бронеплиты и артиллерийские снаряды фашистской Италии и гитлеровской Германии »(PT 77). Наука неизбежно переплелась с господствующим политическим порядком, и он постепенно отказался от надежды на то, что он останется нетронутым. Случай из его работы в швейцарской лаборатории в Милане в 1942 году показал ему тревожное смешение политического и научного дискурса. Директор приказал ему следовать предложениям немецкого ученого по имени Керрн, но, изучив их, он пришел к выводу, что работа Керрна представляет собой сочетание биохимии и колдовства. Он пишет, что

> Это была странная книга: трудно представить, чтобы она была написана и опубликована в каком-либо другом месте, кроме Третьего рейха. Автор не был лишен определенных способностей, но каждая его страница излучала высокомерие человека, который знает, что его утверждения не будут оспариваться. Он писал, и даже разглагольствовал, как одержимый пророк, как будто метаболизм глюкозы у диабетика и здорового человека был открыт ему Иеговой на Синае или, точнее, Вотаном на Валгалле. (PT 119)

Результаты, которые Керрн предсказал теоретически, не могли быть воспроизведены в лаборатории. Осуществляя цензуру научных дискуссий и вкладывая власть в определенных политически одобренных людей и теории, нацисты подрывали саморегулирующиеся проверки, защищающие науку от ошибок. Ученые участвовали в этом процессе либо из корысти, либо по принуждению. Но даже если научный

прогресс страдал, способность контролировать дискурс была необходима для выживания тоталитарных режимов. Леви пишет, что

> в странах и эпохах, в которых общение затруднено, вскоре увядают все другие свободы; дискуссия умирает от истощения, незнание мнения других становится необузданным, навязанные мнения торжествуют. Хорошо известный пример этого - безумная генетика, проповедуемая в СССР Лысенко, которая в отсутствие обсуждений (его оппоненты были сосланы в Сибирь) поставила под угрозу урожай на двадцать лет. Нетерпимость склонна к цензуре, а цензура способствует игнорированию аргументов других и, следовательно, самой нетерпимости: жесткий, порочный круг, который трудно разорвать. (DS 103–104)

По иронии судьбы временное отступление Леви в науку имело деполитизирующий эффект, на который стремилась фашистская цензура. Путем контроля над общественным дискурсом режим создал «белую анестезированную неопределенность» (PT 37), которая изолировала людей и подавляла политическую организацию. Цензура усилила попытку Леви игнорировать слухи о судьбе евреев в условиях нацистской оккупации, чтобы он мог продолжать жить «нормальной» жизнью. В начале 1940-х его семье не хватало денег и инициативы для побега, и, кроме того, он не испытывал открытого антисемитизма в Пьемонте (хотя расовые законы запрещали евреям высшее образование, Туринский университет, по-видимому, не соблюдал их строго, потому что Леви окончил в 1941 году, видимо, без происшествий). Это самоцензура, или игнорирование любых тревожных новостей, проскользнувших мимо официальных фашистских цензоров, ограничивало его очень пассивное сопротивление режиму. Это помешало ему узнать, что Турин и его собственная туринская еврейская община были центром антифашизма. Он пишет, что к 1941 г.

> Семя активной борьбы не сохранилось до нас, оно было остановлено несколькими годами ранее окончательным ударом косы, который отправил в тюрьму, домашний арест, ссылку или молчание последних главных героев и свидетелей Турина - Эйнауди, Гинзбург, Монти, Витторио Фоа, Зини, Карло Леви. Эти имена нам ничего не говорили, мы почти ничего о них не знали - у окружавшего нас фашизма не было противников. Пришлось начинать с нуля, «изобретать» наш антифашизм, создавать его из зародыша, из корней, из наших корней. (PT 51)

Только в конце 1942 года, когда война начала оборачиваться против держав оси, он вспоминает, как начали появляться люди, которые заставляли молчать в течение двадцати лет и открыто выступали за и организовывали оппозицию. Они предоставили недостающий язык сопротивления таким молодым людям, как Леви, которые выросли, не зная никакого другого режима, кроме режима Муссолини: «Они говорили с нами о неизвестном: Грамши, Сальвемини, Гобетти, братья Розелли - кто они? Так что на самом деле существовала вторая история, история, параллельная той, *лицео* администрируют нам свыше? В те мучительные месяцы мы тщетно пытались реконструировать, заново заселить историческую пустоту последних двадцати лет, но эти новые персонажи оставались «героями», как Гарибальди и Назарио Сауро, у них не было толщины или человеческой сущности »(PT 130) . Политические действия предполагают свободу слова и общения, которые режим уже давно ограничил. Этот возобновленный диалог помог создать больше политического пространства и позволил людям развить утерянные традиции активизма. После краха фашизма в 1943 году и последующего немецкого вторжения, оккупации и создания марионеточной республики Сало в Италии Леви присоединился к партизанской банде, связанной с движением сопротивления «Свобода и справедливость». Его группа была предана и схвачена в декабре, а к январю 1944 года он был депортирован в Освенцим.

Фашистская цензура распространилась не только на политические дискуссии, но и на сам язык через кампанию по исключению неитальянских фраз из употребления. Когда в 1942 году потенциальный работодатель сказал Леви встретиться с ним на собеседовании в «Hotel Suisse», а не в «Albergo Svizzera», как в соответствии с правилами фашистского языка, это раскрыло кое-что от политической перспективы работодателя. Его готовность придерживаться оригинальных иностранных французских слов предполагала, что он проигнорирует расовые законы и наймет еврея, официально считающегося иностранцем в фашистской Италии. Нацисты также пытались очистить немецкий язык от иностранных выражений. Леви отмечает, что немецкие ученые «поспешили переименовать бронхит в« воспаление воздуховодов », двенадцатиперстную кишку - в« двенадцатиперстный кишечник », а пировиноградную кислоту - в« ожоговую виноградную кислоту »(DS 98). 16 Леви пишет, что «очевидное наблюдение: насилие сказывается и на человеке, и на языке» (DS, 97). Немецкие слова меняют значение и затрудняют выражение несогласия; националистический подтекст прилагательного «volkisch» и изменение коннотации прилагательного «fanatisch» с отрицательного на положительный приводятся Леви как примеры тесного взаимодействия между языком и нацистской политикой. Философ Берл Ланг объясняет, что нацистский режим намеревался

> подчините язык политической власти, хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что это общее средство обмена, которое часто проявляется в облике самой природы, также не избежит политического господства. Нацисты не только изобрели язык *из* господство, но они намеревались продемонстрировать, что сам язык подчиняется политической власти. Средства, с помощью которых теме доминирования придается лингвистическая форма, разработаны таким образом, чтобы не оставлять аудитории другого выбора, кроме как подчиняться устным или письменным словам, обращающимся к ней. 17

Леви вспоминает свой шок, когда один из техников лаборатории Буны однажды сказал ему слово «пожалуйста», потому что это нарушило кодекс, регулирующий отношения между немцами и евреями; 18 подобно итальянскому работодателю, который использовал запрещенное название «Hotel Suisse», он выражал позицию, противоположную идеологии режима. Учитывая деградацию языка при нацистах и фашистах, неудивительно, что две из наиболее позитивно изображенных фигур в мемуарах Леви, Сандро Дельмастро (PT 37–49) и Лоренцо Перроне (MR 149–160), являются тихими людьми, известными скорее делами, чем риторика, как если бы их словесная краткость помогла изолировать их от официальной напыщенности и догм и сохранить их человечность и способность к альтруизму.

Отвращение Леви к грандиозной риторике, эвфемизмам и бесчеловечным категориям фашистского и нацистского языка оставило его на всю жизнь решимостью писать ясно и лаконично. Составляя свою первую книгу об Освенциме, он вспоминает, что чувствовал себя возвышенным, «чтобы искать и находить или создавать правильное слово, которое было бы соразмерным, кратким и сильным; извлекать события из моей памяти и описывать их с величайшей строгостью и наименьшим количеством беспорядка »(PT 153). Синтия Озик предполагает, что его стиль не только отражает реакцию на варварство, с которым он столкнулся, но и попытку справиться с гневом, который он испытывал, придерживаясь «картины того, как цивилизованный человек должен вести себя, когда он документирует жестокость». 19 Другие критики предполагают, что размеренный тон объективного свидетеля Леви мог бы отражать его прохождение через Освенцим без сопровождения каких-либо ближайших родственников, в то время как многие выжившие испытали на себе уничтожение всех своих семей в лагерях и его возвращение после войны в свой неповрежденный дом и семья в Турине, тогда как многим оставшимся в живых было не к кому или не к кому возвращаться; эти особые обстоятельства могли позволить ему развить более бесстрастный тон, чем это было возможно для других мемуаристов о Холокосте. 20 Леви приписывает свой стиль письма отчасти своей научной подготовке, которая подчеркивает объективное наблюдение, отстраненный анализ и «умственную привычку к конкретности и краткости» (OPT, 187). Габриэль Мотола отмечает, что

Научное мировоззрение Леви способствует эмоциональной силе *Выживание в Освенциме,* где его простой, сдержанный стиль прозы контрастирует и подчеркивает ужасные события, которые он описывает. 21 год Большая часть его словарного запаса и многие метафоры взяты из химии, наиболее очевидно из области химии. *Периодическая таблица,* где каждое название главы - это элемент, который соответствует событию или человеку, о котором идет речь в главе, и освещает их. В его работах часто встречаются такие химические термины, как «перегонять», «очищать», «кристаллизовать» и «фильтровать».

Несомненно, это научное образование повлияло на его использование языка. Но его выбор стиля имеет также политическое измерение. Джордж Оруэлл в своем эссе «Политика и английский язык» признал, как злоупотребления языком облегчают режимам оправдание неоправданного («сделать ложь правдивой, а убийство - респектабельным»), что еще больше искажает язык. 22 Такие писатели, как Ханна Арендт, заметили, что обширные нацистские «языковые правила» (сами по себе эвфемизм для «лжи») способствовали эффективности их бюрократии убийств или тому, что они назвали «окончательным решением». 23

Ланг признает, что изменение языка не является ни необходимой, ни достаточной причиной для объяснения действий геноцида, но утверждает, что «насилие, нанесенное языку в ходе геноцида ... путь воли и искусства; он раскрывает, насколько глубоко замысел геноцида был задуман и насколько развитым стало мировоззрение ». 24 Оруэлл рекомендует, чтобы все политические статьи следовали простому ясному стилю, избегающему пассивного голоса, клише и эвфемизмов, чтобы глупые или убийственные мысли сразу же стали очевидными как таковые. Леви хорошо помнит лозунг «Arbeit Macht Frei» (труд дает свободу), высвеченный над парадными воротами, через которые он вошел в лагерь Моновиц в Освенциме. Поскольку Моновиц был рабским трудовым лагерем, где евреев либо доводили до смерти, либо, в конце концов, отправляли на истребление в Биркенау, издевательская абсурдность таких клише, как «Arbeit Macht Frei», возможно, подтолкнула его к четкому декларативному стилю. В одном из своих более поздних эссе он отвечает молодому писателю, ищущему совета, следующим образом: «У меня острая потребность в ясности и рациональности, и я думаю, что большинство читателей думают так же. Открытый текст не обязательно является элементарным; 25

Эта перспектива сформировала не только его собственное письмо, но и его литературный вкус. Это объясняет его возражения против поэзии Поля Целана, выжившего, который избежал нацистской депортации евреев Буковины, скрывшись, но который большую часть войны был отправлен на принудительные работы в румынский лагерь. Умышленное затемнение более поздних работ Целана создает «ужасающий хаос».

и «тьма», которая «растет от страницы к странице, пока последний нечленораздельный лепет не загорится, как скрежет умирающего» (ОПТ 173). Язык мешает читателю понять более поздние стихи и в этом смысле «обманывает» читателя в том, что должно было быть сообщено. Леви далее поясняет, что «если это сообщение, оно теряется в« фоновом шуме »: это не общение, это не язык, или, самое большее, это темный и усеченный язык, точно такой же, как у человека, который вот-вот умрёт и он один, так как все мы будем при смерти. Но поскольку мы, живые, не одиноки, мы не должны писать так, как будто мы одни. Пока мы живы, мы несем ответственность: мы должны отвечать за то, что пишем, слово в слово, и следить за тем, чтобы каждое слово достигло цели »(ОРТ 173–74). 26 Говорение на языке, который не понимают другие, позволяет говорящим утверждать свое превосходство над не говорящими; Леви не может забыть, как охранники и Капо в Освенциме жестоко воспользовались неспособностью многих заключенных говорить по-немецки, чтобы запугать и унизить их. Он объясняет свое собственное выживание отчасти своим элементарным знанием немецкого языка, полученным в колледже и у других заключенных, что позволило ему усвоить правила Освенцима с меньшим количеством побоев. В более общем плане он утверждает, что иностранные или непонятные языки помогли сохранить доминирование церковников и колониальных правителей на протяжении всей истории. Хотя он уважает плотные, герметичные стихи Целана как «трагические и благородные», он утверждает, что их стиль не следует имитировать или пропагандировать. Как ни странно для человека с острой потребностью в ясности и рациональности, *Судебный процесс*

на итальянский. Он обнаруживает, что загадочные притчи Кафки символически предвосхищают многое из того, чему он стал свидетелем в Освенциме. Способность Кафки создавать мир страдающих персонажей, осужденных непостижимым трибуналом, одновременно ослепляет и отталкивает его. Несмотря на свое восхищение, он признает, что у него мало литературной близости к Кафке, который пишет так, как «совершенно недоступно» для него. Его влечение к Кафке может быть связано с его признанием того, что Кафка разработал стиль прозы, даже если он сильно отличается от его собственного, предназначенный для постижения зла в больших масштабах, та же литературная проблема, с которой сталкивается Леви. Далее он объясняет, что «в своих произведениях, добро или зло, сознательно или нет, я всегда стремился перейти из тьмы к свету, как ... фильтрующий насос, который всасывает мутную воду и выталкивает ее декантированной: возможно, бесплодной. . 27

Сильное влечение Леви к ясному и понятному языку, обеспечивающему общение и понимание, отражает его противоположный опыт в Освенциме, где насилие заменило язык в качестве стандарта человеческого общения.

взаимодействие. Избиения начались, когда немцы погрузили итальянских евреев в поезд для депортации. Удары не имели никакого смысла, и Леви вспоминает свое изумление, что немцы избили их без провокации и, по-видимому, без гнева. В первоначальном «выборе» в Освенциме он описывает, как человек по имени Ренцо «задержался на мгновение слишком долго, чтобы попрощаться с Франческой, своей невестой, и одним ударом они повалили его на землю. Это был их повседневный долг »(SA 15). После нескольких дней в запертом товарном вагоне без еды и воды и без воды по прибытии в Освенцим Леви вспоминает, как открыл окно, чтобы сломать сосульку, чтобы утолить жажду. Охранник грубо схватил его и затолкал обратно внутрь. Леви спросил на своем бедном немецком «почему», и охранник ответил: «Hier ist kein warum» (здесь нет «почему») (SA 25). Споры, нарушения, недопонимание между заключенными вызывали такой же бурный отклик. Капо также знали, что боль служит для стимуляции последнего запаса энергии, так что при выполнении тяжелого физического труда он вспоминает, что заключенных избивали не только из-за явной жестокости, но и для того, чтобы они не упали под тяжестью своей ноши, как один из них. может быть усталых тягловых животных (SA 60). Люди общаются с другими людьми, но немцы не считали евреев настоящими людьми. Он замечает, что для того, чтобы заставить лошадь остановиться или повернуться, не требуется подробного объяснения, которое лошадь в любом случае не поняла бы, и что натягивание поводья, удары шпорами или щелканье хлыстом могут служить одинаково хорошо, как выкрикиваемая команда (DS 91). Язык означал бы определенное равенство между говорящими, тогда как насилие подразумевает превосходство нападающего над жертвой. Это устраняет аргументы и убеждения. В концентрационных лагерях, таких как Маутхаузен, резиновую дубинку называли «дер Дольметчер, переводчик: тот, кто сделал себя понятным для всех» (DS 92). Леви вспоминает, что на «повседневном языке» ударов и пощечин заключенные научились распознавать нюансы насилия и могли различать удары, разработанные как «невербальное общение», и удары, направленные на причинение боли, которые часто заканчивались смертью. Он вспоминает случай, когда немецкий капо по имени Эдди поймал его за письмом домой против правил лагеря, и тот, кто дал себя понять всем »(DS 92). Леви вспоминает, что на «повседневном языке» ударов и пощечин заключенные научились распознавать нюансы насилия и могли различать удары, разработанные как «невербальное общение», и удары, направленные на причинение боли, которые часто заканчивались смертью. Он вспоминает случай, когда немецкий капо по имени Эдди поймал его за письмом домой против правил лагеря, и тот, кто дал себя понять всем »(DS 92). Леви вспоминает, что на «повседневном языке» ударов и пощечин заключенные научились распознавать нюансы насилия и могли различать удары, разработанные как «невербальное общение», и удары, направленные на причинение боли, которые часто заканчивались смертью. Он вспоминает случай, когда немецкий капо по имени Эдди поймал его за письмом домой против правил лагеря, и

> с силой шлепнул меня на землю. Но вот: когда я пишу это предложение сегодня и когда я набираю слово «пощечина», я понимаю, что лгу или, по крайней мере, передаю читателю предвзятые эмоции и информацию. Эдди не был зверем; он не хотел меня наказать или заставить страдать. Пощечина, нанесенная в лагере, имела совсем другое значение, чем то, что она могла иметь здесь, среди нас, здесь и сейчас. Точно: это

> имел значение; это был просто еще один способ самовыражения. В этом контексте это примерно означало: «Осторожно, на этот раз вы действительно совершили большую ошибку, вы подвергаете опасности свою жизнь, возможно, даже не осознавая этого, и вы также подвергаете опасности мою». Но между Эдди, немецким вором и жонглером, и мной, молодым, неопытным итальянцем, растерянным и сбитым с толку, такая речь была бы бесполезной, непонятной (хотя бы из-за языковых проблем), расстроенной и многого другого. кольцевой. (MR, 31)

Передать переживания такого всепроникающего и интенсивного насилия обратно в язык стало задачей его свидетеля.

L язык и W я tness

Леви запечатлел разрушающую язык природу лагерной жизни в своем рассказе о своей послевоенной встрече с немым умирающим ребенком в советской больнице в Освенциме. Другие выжившие назвали ребенка «Гурбинек», потому что это имя напоминало звук его невнятных криков. Леви полагает, что немота Гурбинека возникла просто потому, что никто не научил его говорить, но его рассказ ясно показывает, что он считает ребенка символом травмирующего эффекта огромного насилия в концентрационном лагере, который грозит заставить всех, кто испытал это, потерять сознание или отчаяться. озвучивать то, что произошло. Он видит мучительное суждение в пристальном взгляде ребенка и чувствует себя обязанным высказать это суждение и увековечить память ребенка в прозе, чтобы он не исчез с земли, не оставив следа. как и многие жертвы Холокоста. Его последнее описание Гурбинека звучит почти как панегирик семье ребенка, ни один из которых не выжил, чтобы его услышать. Он пишет, что «Гурбинек, которому было три года, возможно, родился в Освенциме и никогда не видел дерева; Гурбинек, который боролся, как мужчина, до последнего вздоха, чтобы войти в мир людей, из которого его исключила животная сила; Гурбинек, безымянный, чье крохотное предплечье - даже его - имело татуировку Освенцима; Гурбинек умер в первых числах марта 1945 года на свободе, но не выкуплен. От него ничего не осталось: он свидетельствует этими моими словами »(R 12). В своем эссе о своем друге-студенте Сандро Дельмастро, партизане, убитом фашистской гвардией в 1944 году,

печатную страницу, особенно такого человека, как Сандро »(PT 49). Но даже восхитительные изображения Гурбинека или Сандро заставляют читателя стать свидетелем того, что с ними произошло, и судить людей, которые их убили. Он объясняет, что сознательно использует простой, сдержанный стиль, чтобы усилить силу своего свидетельства:

> описывая трагический мир Освенцима, я намеренно использовал спокойный, трезвый язык свидетеля, а не причитающий тон жертвы или сердитый голос человека, жаждущего мести. Я думал, что мой рассказ будет тем более достоверным и полезным, чем больше он будет казаться объективным и чем менее он будет звучать излишне эмоциональным; только так свидетель в вопросах правосудия выполняет свою задачу, которая состоит в том, чтобы подготовить почву для судьи. Судьи - мои читатели. (196 р.)

Глава Леви о химическом исследовании, который он получил через несколько месяцев после прибытия в Освенцим, иллюстрирует его метод. В этой странной, почти сюрреалистической сцене немецкий химик по имени доктор Паннвиц спросил его, чтобы определить степень его научных знаний и следует ли ему работать в лаборатории большого завода по производству синтетического каучука («Буна») Фарбен. IG Farben был тогда крупнейшим химическим конгломератом в мире и в конечном итоге инвестировал более 700 миллионов марок в заводы в Освенциме, где заключил контракт с СС на поставку рабского труда. Компания предоставила заключенным в лагере Моновиц голодный паек, которого обычно хватало только на три месяца. 28 год На экзамене Паннвиц не признал истощение, истощение, немытость Леви и продолжил расспрашивать его по-немецки о химии, проявив особый интерес к старшей диссертации Леви об измерении диэлектрических констант. Леви описывает начало их встречи объективным, отстраненным языком: «Паннвиц высокий, худой, блондин; у него глаза, волосы и нос, как и положено всем немцам, и он грозно сидит за сложным письменным столом. Я, Хафлинг 174517, стою в его офисе, который является настоящим офисом, сияющим, чистым и упорядоченным, и я чувствую, что оставлю грязное пятно, чего бы я ни коснулся »(SA 96). В этом кратком отрывке он указывает на ту огромную пропасть, которую создал нацистский процесс дегуманизации: немец определяется по имени, сидит, владеет письменным столом и кабинетом, тогда как еврей идентифицируется по номеру, стоит и ничего не имеет. Прямой, бесстрастный тон отрывка подтверждает почти невероятное отсутствие у Паннвица человеческого сочувствия и подчеркивает

причудливое сопоставление академической беседы о химии с рутинной невербальной жестокостью жизни в лагере. В конце главы Леви описывает, как Капо по имени Алекс, который сопровождал его на работу с экзамена, схватил покрытый жиром кабель, чтобы сохранить равновесие, а затем вытер руку о рубашку Леви, как будто Леви не существовало. Спокойно собрав детали для воссоздания сцены, он завершает главу, написав: «Он был бы поражен, бедный грубый Алекс, если бы кто-нибудь сказал ему, что сегодня на основании этого действия я сужу его, Паннвица и бесчисленного множества других. как он, большой и маленький, в Освенциме и повсюду »(SA 98). Поскольку он прямо не заявляет о содержании своего собственного суждения, он заставляет читателя судить, основываясь на представленных им доказательствах.

Требование справедливости лежит в основе свидетельства Леви. Воспроизводя насилие концлагеря на языке, он помещает его в политическую сферу, где его можно обсуждать, анализировать и судить. Он объясняет, что лично он не может применить насилие или «ответить на удар» не из-за религиозных или философских убеждений, а просто из-за «внутренней неспособности» и потому что «обмен ударами - это опыт, которого у меня нет, еще когда я может войти в память »(DS 136). Он объясняет свою неуспешность как сторонника этим недостатком своего характера. Как бы несовершенно он ни работал, он должен полагаться на правовую систему, чтобы назначить наказание. Таким образом, его свидетель может влиять на общественное мнение, которое определяет закон и его исполнение. И поскольку относительно немногие лагерные функционеры когда-либо подвергались формальным испытаниям,

Естественно, особое значение для него приобрела немецкая публика. Когда в 1959 году он узнал, что немецкий издатель приобрел права на перевод для *Выживание в Освенциме,* он «чувствовал себя переполненным неистовым и новым чувством победы в битве» (DS 168). Хотя у него было много разных причин для написания книги, он заявляет, что «ее истинные получатели, те, против кого книга была направлена, как ружье, были они, немцы. Теперь ружье было заряжено »(DS 168). Несмотря на то, что он отвергает физическое насилие, его метафоры предполагают, что он считает своего свидетеля оружием в борьбе за справедливость.

Предпоследние главы в *Периодическая таблица* а также *Утопленные и спасенные* оба обсуждают письма немецких читателей его переведенного отчета об Освенциме. Ответы немцев позволяют ему оценить влияние своего свидетельства на тех, кто соглашался или чьи родители соглашались с уничтожением евреев. Он описывает свою случайную встречу с одним из немецких химиков, которых он знал в Освенциме, который все еще работал в немецкой компании, ранее входившей в IG Farben, которая поставляла некоторые дефектные смолы в Аушвиц.

Итальянская фабрика, на которой работал Леви. В переписке для решения этой проблемы доктор Мюллер (распространенное немецкое имя, эквивалентное английскому имени Миллер) неоднократно ошибался в написании «нафтенат» как «наптенат», и Леви распознал характерную ошибку химика лаборатории Буна, который обычно говорил «бета- Наптиламин »вместо правильного« бета-нафтиламина »(РТ

213). Эта маленькая лингвистическая деталь пометила его почти как отпечаток пальца, и по нему Леви идентифицировал доктора Мюллера, который, в свою очередь, вспомнил Леви из лаборатории Буна. Отправив ему копию немецкого издания *Выживание в Освенциме,* Мюллер написал в ответ с просьбой о личной встрече, «полезной как для меня, так и для вас, и необходимой для преодоления того ужасного прошлого» (РТ 217). Опасаясь того, что может произойти на такой встрече и что он никогда не сможет адекватно выразить себя в такой обстановке, Леви решил, что «для меня было бы лучше продолжать писать» (РТ 218). Он ответил в письме, спросив, «принял ли Мюллер суждения» его книги, почему он думал, что Фарбен с такой готовностью использовал рабский труд, и что он знал о лагерях смерти в Освенциме. Мюллер ответил в длинном письме, которое Леви тратит на обобщение почти на трех страницах. В нем он обвинил Освенцим в общих недостатках человечества, приписал свое членство в СА (Штурмовые отряды) тем, что его «поначалу тащил за собой общий энтузиазм по поводу режима Гитлера. »Защищал лагерь Фарбена Моновиц, как предназначенный для защиты евреев, отрицал какие-либо сведения о газовых камерах в Освенциме, подчеркивал личные услуги, которые он оказал Леви в лаборатории, и в своей книге увидел« преодоление иудаизма, выполнение христианских заповедей. любить врагов и свидетельство веры в Человека »(РТ 219, 221). Леви считает, что у Мюллера по крайней мере была совесть, потому что письма и попытки установить прямой контакт предполагают, что Мюллер не мог полностью свести счеты с прошлым. Однако его уклонение от личной ответственности и нелепое объяснение прошлого Фарбена показали, что он не понимал значения свидетельства Леви. Леви заключает, что и увидел в своей книге «преодоление иудаизма, исполнение христианского заповеди любить своих врагов и свидетельство веры в Человека» (РТ 219, 221). Леви считает, что у Мюллера хотя бы есть совесть, потому что письма и попытки установить прямой контакт предполагают, что Мюллер не мог полностью свести счеты с прошлым. Однако его уклонение от личной ответственности и нелепое объяснение прошлого Фарбена показали, что он не понимал значения свидетельства Леви. Леви заключает, что и увидел в своей книге «преодоление иудаизма, исполнение христианского заповеди любить своих врагов и свидетельство веры в Человека» (РТ 219, 221). Леви считает

> в своем первом письме он говорил о «преодолении прошлого», «Bewältigung der Vergangenheit»: Позже я обнаружил, что это стереотипная фраза, эвфемизм в сегодняшней Германии, где ее повсеместно понимают как «искупление от нацизма»; но коренное слово, которое он содержит, также встречается в словах, которые выражают «господство», «насилие» и «изнасилование», и я считаю, что перевод выражения «искажение прошлого» или «насилие, нанесенное прошлому» не очень далеки от его глубокого смысла. (РТ 222)

Нацистская риторика вроде «Arbeit Macht Frei» затемняла или эвфемистически описывала реальность, но здесь язык разоблачает истину, более глубокую, чем предполагаемый смысл ее говорящего. Некоторые немецкие буквы, процитированные в его более поздней книге *Утопленные и спасенные* дают больше поводов для оптимизма в отношении воздействия его свидетельства, но он выражает общее разочарование тем, что сорок лет спустя мало кто где-либо, кажется, заинтересован в его показаниях. Мюллеры всего мира работали и процветали в тех же компаниях, которые помогали управлять концентрационными лагерями, как ни в чем не бывало. Озик пишет, что один из «самых ужасных» [29] предложения, когда-либо написанные на тему «преодоления прошлого», входят в Предисловие к *Утопленные и спасенные*

где Леви отмечает, что «сами печи крематориев были спроектированы, построены, собраны и испытаны немецкой компанией Topf из Висбадена (в 1975 году она все еще работала, строя крематории для гражданского использования, и не считала целесообразным менять их имя) »(ДС, 16). Моральная тупость, демонстрируемая такими компаниями, как Topf, или такими людьми, как доктор Мюллер, нашла более широкое распространение в 1980-х годах в трудах консервативных немецких историков-ревизионистов времен Второй мировой войны и в кампании правящей коалиции по «нормализации», направленной на устранение застарелого клейма. из нацистской эпохи, чтобы [Западная] Германия смогла полностью воссоединиться с сообществом наций, кульминацией чего стало приглашение Рональда Рейгана выступить на кладбище Битбург в 1985 году. [30]

Свидетель Леви пытается бороться с преднамеренной амнезией участников Холокоста, таких как Мюллер, и ослаблением исторической осведомленности грядущих поколений. Ему удается реконструировать с помощью слов место, которое он сравнивает с Вавилоном: «смешение языков - фундаментальная составляющая образа жизни здесь: человек окружен вечным Вавилоном, в котором все выкрикивают приказы и угрозы на языках, которых раньше не слышали, и горе тому, кто не поймет смысла. Здесь ни у кого нет времени, ни у кого нет терпения, никто вас не слушает; мы, недавно прибывшие, инстинктивно собираемся по углам, у стен, боясь, что нас побьют »(SA 33). Подавление нормальной функции языка по созданию и выражению смысла быстро дегуманизировало заключенных в Освенциме. А изобразить языком ситуацию, когда язык запнулся, представляет трудности. Он расширяет метафору Вавилона, связывая языковую путаницу в лагере с его ужасным моральным хаосом: «Башня из карбида, которая возвышается посреди Буны и вершина которой редко видна в тумане, была построена нами. Его кирпичи назывались Ziegel, briques, tegula, cegli, kamenny, mattoni, téglak, и они были скреплены ненавистью; ненависть и раздор, как Вавилонская башня, и именно так мы ее называем: - Babelturm, Bobelturm; и в нем мы ненавидим безумную мечту о величии наших господ, их презрение к Богу и людям, к нам, людям »(SA и они были скреплены ненавистью; ненависть и раздор, как Вавилонская башня, и именно так мы ее называем: - Babelturm, Bobelturm; и в нем мы ненавидим безумную мечту о величии наших господ, их презрение к Богу и людям, к нам, людям »(SA и они были скреплены ненавистью; ненависть и раздор, как Вавилонская башня, и именно так мы ее называем: - Babelturm, Bobelturm; и в нем мы ненавидим безумную мечту о величии наших господ, их презрение к Богу и людям, к нам, людям »(SA

66). Хотя Леви был и оставался неверующим, библейская метафора помогает предположить эпический масштаб нынешних страданий и зла. Вавилон в лагере возник не только из-за множества языков, на которых говорят заключенные, но и из-за попытки уничтожить язык с помощью насилия. Разнообразные лингвистические идентичности заключенных были уничтожены и заменены одной идентичностью, основанной на расе (как ее понимали нацисты), что означало статус недочеловека. Леви замечает, что, как это ни парадоксально, Освенцим был одновременно шумным и тихим, шквал звуков, ничего не сообщающих, «гул людей без имен и лиц, утонул в непрерывном оглушительном фоновом шуме, из которого, однако, не всплыло человеческое слово. Черно-белый фильм со звуком, но не со звуком »(DS 93–94). Его свидетель противостоит лингвистическому нигилизму, развязанному нацистами, который, по его мнению, способствовал их преступлениям. Перемещая этот очень мрачный эпизод к свету, он выполняет важную общественную службу и, несмотря на свою неуверенность в отношении влияния своего свидетеля, убедительно описывает то, что один наблюдатель за освобождением концлагеря в Бельзене назвал «за гранью воображения человечества. . » 31 год

N OTEC

1. Джордж Штайнер утверждает, что «мир Освенцима лежит за пределами речи, поскольку он лежит вне разума »в *Язык и тишина (* New York: Atheneum, 1967), 123. Лавенс Лангер замечает, что объем литературы о холокосте противоречит первой половине утверждения Штайнера, но истина второй половины создает серьезные трудности для писателей, пытающихся ассимилировать реальность концлагерей в их Работа. См. Лоуренса Лангера, *Холокост и литературное воображение (* New Haven: Yale University Press, 1975), 15. Элвин Розенфельд находит это одновременное стремление к речи и тягу к молчанию, обычное в литературе о Холокосте. Он объясняет, что «на самом деле здесь присутствует глубокая боль и огромное разочарование писателя, который сталкивается с предметом, который принижает и угрожает сокрушить ресурсы его языка ... реальность претерпела настолько радикальные искажения, что обезоружила и больше не отображала заслуживают доверия нормальные познавательные и выразительные способности. В результате разум, казалось, уступил место безумию, как язык снова и снова молчал ». См. Элвина Розенфельда, *Двойное умирание: размышления о литературе о холокосте (* Блумингтон: издательство Индианского университета, 1980), 14, 28.

2. Риса Соди, «Интервью с Примо Леви». *Партизанский обзор* 54,3 (Лето 1987), 356.

3. Примо Леви, *Периодическая таблица,* пер. Раймонд Розенталь (NY: Schocken Books, 1984), 151. Впервые книга была опубликована в Италии в 1975 году. Все дальнейшие ссылки в тексте будут обозначаться (PT).

4. Примо Леви, *Пробуждение,* пер. Стюарт Вульф (Нью-Йорк: Collier Books, 1987),

2. Книга была впервые опубликована в 1963 году как *La tregua (Перемирие).* Все дальнейшие ссылки будут обозначены в тексте как (R).

5. Примо Леви, *Утопленные и спасенные (* NY: Vintage Books, 1989), 24. Все. дальнейшие ссылки будут обозначены в тексте как (DS).

6. Вокруг смерти Леви остаются споры, но большинство, кажется, согласны с идеей самоубийства. Для двух эссе, которые интерпретируют его самоубийство в свете его последних опубликованных мемуаров о Холокосте, см. Cynthia Ozick, «Suicide Note Primo Levi's» в *Метафора и память (* Нью-Йорк: Альфред Кнопф, 1989), 34–48, и Александр Стил, «Нападающий» у Жана Амери, *На границах разума (* NY: Schocken Books, 1990), vii – xvi.

7. Лоуренс Лангер, *Свидетельства о Холокосте (* Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1991), 171. Ни один из рассказов Леви о своем освобождении из Освенцима в его первых двух мемуарах не описывает чувства радостного празднования. В отрывке, цитируемом Лангером, чтобы предположить, как опыт концентрационного лагеря отделил термин «освобождение» от его обычного значения свободы, Леви объясняет, что «в большинстве случаев [освобождение] произошло на трагическом фоне разрушения, резни и страданий. Так же, как они почувствовали, что снова становятся мужчинами, и это было ответственно, печали мужчин вернулись: печаль рассредоточенной или потерянной семьи; всеобщее страдание вокруг; их собственное истощение, которое казалось окончательным, неизлечимым; проблемы жизни, чтобы начать все сначала среди обломков, часто в одиночестве. Не удовольствие, сын страдания, но страдание, сын страдания. Оставить боль позади было удовольствием только для нескольких счастливчиков, или только на несколько мгновений, или для очень простых душ; почти всегда это совпадало с фазой тоски »(DS, 70–71). В его книге *Свидетельства о Холокосте,* Лангер развивает такие понятия, как «мучительные воспоминания» и «униженные воспоминания», чтобы объяснить продолжающиеся страдания выживших еще долгое время после их освобождения.

8. Примо Леви, *Выживание в Освенциме,* пер. Стюарт Вульф (Нью-Йорк: Кольер, 1961), 112–13. Книга была впервые опубликована в 1947 году как *Se questo è un huomo (Если это мужчина).* Все дальнейшие ссылки будут обозначены в тексте как (SA).

9. Лангер, *Свидетельства о Холокосте,* 61.

10. Ощущение «невероятности» повторяется в воспоминаниях и дневниках Холокоста. Четный такому влиятельному летописцу, как Эли Визель, это кажется совершенно непостижимым; в 1967 году он заявил об Освенциме: «Я не верю в это. Событие кажется нереальным, как будто оно произошло на другой планете ». Эли Визель, «Еврейские ценности в будущем после Холокоста», *Иудаизм* 16.3 (лето 1967): 285, цит. По: Langer, 78.

11. Розенфельд, 55. Лангер обнаруживает ту же дилемму, присутствующую в устных свидетельствах Выжившие в Холокосте, о которых он пишет, что «тревога тщетности скрывается под поверхностью многих из этих рассказов» (*Свидетельства о Холокосте,* xiii).

12. Это использование было широко распространено, потому что Юджин Когон сообщает, что Когда прибыли поезда с депортированными, охранники лагеря часто спрашивали друг друга: «Wie viele Stücke» (Сколько «штук»)? Когон цитируется по Rosenfeld, 137.

13. В интервью Леви отмечает, что в Италии он известен как писатель, иногда еврей, тогда как в Америке он известен и позиционируется как еврейский писатель. Хотя он «с радостью принимает» ярлык «еврейский писатель», он не полностью отражает его собственное представление о себе (Sodi, 355).

14. Обзор этой истории см. В H. Stuart Hughes, *Узники надежды: Серебряный век итальянских евреев, 1924–1974 (* Кембридж: Издательство Гарвардского университета,

1983), 1–28, и Сьюзан Зуккотти, *Итальянцы и Холокост (* Нью-Йорк: основные книги, 1987), 12–27.

15. Для дальнейшего обсуждения словарного запаса лагеря см. Сидра Эзрахи, *Только словами: Холокост в литературе (* Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1980), 10–11.

16. Обсуждение «нацистско-немецкого языка» см. Rosenfeld, 129–42, and Henry Фридлендер, «Манипулирование языком» в Генри Фридлендер и Сибил Милтон, ред., *Холокост: идеология, бюрократия и геноцид (* Миллвуд, Нью-Йорк: Международные публикации Крауса, 1980), 103–13.

17. Берел Ланг, «Язык и геноцид» в *Действия и идеи в нацистском геноциде* (Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1990), 97–98.

18. Примо Леви, *Моменты отсрочки,* пер. Рут Фельдман (Нью-Йорк: Schocken Books, 1986), 90. Все дальнейшие ссылки в тексте будут обозначаться (MR).

19. Озик, 47 лет. Она утверждает, что самоубийство Леви могло отразить тщетность такого защитный механизм.

20. Стилле, xii-xiii.

21. Габриэль Мотола, «Примо Леви: язык ученого». *Литературное обозрение* 34.2 (Winter 1991): 204. Озик аналогичным образом замечает, что стиль прозы Леви представляет собой «психологический оксюморон: благовоспитанный цицерон ада, смертный ужас благопристойным голосом» (40). Фернанда Эберштадт соглашается с тем, что стиль Леви сочетает в себе «точность, экономичность, тонкость, сухой и печальный остроумие, глубокое понимание драматического потенциала преуменьшения и некоторую фригидность манер, которая эффективно сочетается с взрывоопасностью его предмета», но она связывает это не с его научным образованием, а с его светским скептическим темпераментом и его «классическим средиземноморским образованием» («Reading Primo Levi»,

Комментарий 80 [октябрь 1985]: 43). Обсуждая свою первую книгу в интервью Филиппу Роту, Леви указал на еще один источник влияния: «Моя модель (или, если хотите, мой стиль) - это« еженедельный отчет », обычно используемый на заводах: он должен быть точным. , кратко и написано на языке, понятном для всех в отраслевой иерархии »(Филип Рот,« Человек, спасенный его навыками », *Обзор книги «Нью-Йорк Таймс» [* 12 октября 1986 г.]: 41). Леви проработал на той же фабрике красок в Турине почти тридцать лет, как химиком-исследователем, так и тринадцать лет в качестве генерального директора завода. Он вышел на пенсию в 1977 году, чтобы писать на полную ставку.

22. Джордж Оруэлл, «Политика и английский язык» в *Сборник эссе Джорджа Оруэлла (* Нью-Йорк: Харкорт Брейс Йованович, 1946), 171.

23. Ханна Арендт, *Эйхмана в Иерусалиме (* Хармондсворт: Книги о пингвинах, 1963), 48–55, 85–86, 105–109. См. Убедительный анализ фразы «Endlösung» («окончательное решение»), которую нацисты приняли на Ванзейской конференции в январе 1942 года в качестве стандартного употребления для обозначения уничтожения евреев, в «Language and Genocide» 85. –92.

24. Lang, 81–82.

25. Примо Леви, *Другие народные промыслы,* пер. Раймонд Розенталь (NY: Summit Books, 1989), 221. Все дальнейшие ссылки в тексте будут обозначаться (OPT). Эзрахи отмечает, что аналогичные опасения по поводу нацистского унижения языка и его политических последствий подтолкнули некоторых послевоенных немецких писателей к ясному и энергичному стилю прозы.

Леви искал: «для некоторых немецких писателей память о символах и абстракциях, используемых для создания национального единства и маскировки отвратительных преступлений, является предупреждением против надуманной риторики» (45). См. Также Энн Мейсон, «Нацизм и послевоенный немецкий литературный стиль». *Современная литература* 17.1 (Winter, 1976): 63–83.

26. Лангер утверждает обратное, что «копируя [Холокоста] противоречиям, не давая возможности «упорядочить» свои реакции или собрать их в осмысленный образец, Целан изобрел поэтическую форму, исключительно подходящую для сути его видения »(*Холокост и литературное воображение,* 12). Розенфельд замечает, что автобиографические сочинения переживших Холокост демонстрируют ряд стилей, включая противоположности, такие как Леви и Целан: «Стремясь правдиво и без каких-либо украшений вспомнить свои переживания, некоторые мемуаристы стремились к строгому реализму повествования; другие, полагая, что те же самые переживания были почти потусторонними по своей странности и жестокости, пытались имитировать их в прозе, которая сама по себе извилистая и отчужденная »(54).

27. Примо Леви, *Создатель зеркал,* пер. Раймонд Розенталь (Нью-Йорк: Schocken Books, 1989), 106–107.

28. Для более подробного обсуждения IG Farben и многих других крупных Немецкие компании, которые использовали рабский труд из концлагерей, см. Рауль Хильберг, *Уничтожение европейских евреев (* Чикаго: Quadrangle Books, 1961), 586–60, Ричард Рубинштейн, *Хитрость истории: Холокост и будущее Америки (* NY: Harper Colophon Books, 1975), 36–67, Ричард Боркин, *Преступление и наказание И. Г. Фарбена (* Нью-Йорк: The Free Press, 1978), и Джон Рот, «Бизнес Холокоста: некоторые размышления об Arbeit Macht Frei», *Летописи* 450 (июль 1980 г.): 68–82.

29. Озик, 42.

30. За критику консервативных историков-ревизионистов, таких как Майкл Штюрмер, Андреас Хиллгрубер и Эрнест Нольте (возможно, самые крайние заявления были сделаны в 1986 году Нольте, который утверждал, что нацистские лагеря смерти переняли процедуры, уже разработанные в сталинском ГУЛАГе, и были мотивированы опасением Гитлера, что немцы сами станут жертвами сталинских «жертв». Азиатский »натиск), см. Юрген Хабермас, *Новый консерватизм: культурная критика и дебаты историков,* пер. Шиерри Николсен (Кембридж: MIT Press, 1989), 212–28. О противоречиях, порожденных консервативными историками, и о нападках на них Хабермаса см .: Charles Maier, *Необузданное прошлое: история, холокост и немецкая национальная идентичность* (Кембридж: издательство Гарвардского университета, 1988), 9–65, и Джудит Миллер, *Один, за другим, за другим: перед лицом холокоста (* Нью-Йорк: Саймон и Шустер, 1990), 32–51. О спорах вокруг визита Рейгана в Битбург см. Geoffrey Hartman, ed., *Битбург в морально-политической перспективе (* Блумингтон: Издательство Индианского университета, 1986).

31. Цитируется у Езрахи, 3.